

АЛЬКА

1

– Алька, домой! – раздался звонкий женский голос из открытого окна.

Лица говорившей не было видно, но худенькая невысокая девочка спокойно взглянула на чуть колышущиеся занавески и покорно направилась к высокому крыльцу.

Вечер был ласковым, мягким и томным, какими обычно бывали приморские летние вечера, наполненные ароматами цветом и пением цикад. Именно поэтому Альке не очень-то хотелось идти в душную утробу небольшой квартирки. Домик, где она проживала, даже по местным меркам был крохотным и состоял из кухоньки и комнаты, в которой места хватало лишь для старенького диванчика, покосившегося шкафа да швейной машинки, удобно пристроившейся в углу. До появления в их жизни высокого широкогрудого мужчины Алька спала с мамой, которая перед сном обязательно рассказывала ей занимательную историю или читала книжку, и Алька, сладко улыбаясь, засыпала под её ровный голос.

Всё в её жизни изменилось не тогда, когда отец, прижимая её к своей груди, шептал что-то, чего она толком не понимала, а затем ушёл, осторожно прикрыв дверь. Она никогда не чувствовала его отсутствия. Жил он на соседней

улице со своей мамой, Алькиной бабушкой, и она могла каждый день бегать к ним в гости. Но потом появился совершенно чужой для Альки человек, который громко храпел по ночам, и Альку перевели спать на кухню, на неудобный топчан, к которому она долго привыкала. Сказок ей теперь не читали, и она засыпала под шёпот, доносившийся из соседней комнаты.

6

Мужчина ей не нравился. И хотя он никогда не обижал Альку, а напротив, постоянно покупал ей что-нибудь, в нём раздражало всё: и громкий чуть хриловатый голос, и его подарки, и желание распорядиться всем в их с мамой доме. Она сначала даже поревела, уткнувшись в подушку, но, когда поняла, что мама и отец всё так же не перестают любить её, снова начала улыбаться и радоваться жизни.

Больше всего на свете Алька любила придти к отцу в гости. Первое время она, удобно расположившись в огромном кресле на веранде уютного дома, задавала отцу и бабушке один и тот же вопрос.

– А вы любите меня?

Бабушка весело смеялась, откинув голову назад, затем крепко обнимала Альку и нараспев говорила:

– Солнышко моё, как же я могу не любить тебя. Ты же моя внученька, моя отрада, подарок судьбы.

Отец же, наоборот, начинал тормозить Альку, отчего она весело визжала, а потом, глядя в её синие, как весеннее небо глаза, говорил:

– Ты самое большое достижение в моей жизни, самый важный и нужный человек.

– На всей-всей земле? – уточняла Алька.

– На всей-превсей, – уверял отец, а затем добавлял: – И даже за её пределами.

И Алька не сомневалась, что дороже неё на белом свете нет никого.

2

Алька не видела отца уже целую неделю. Он уехал на какой-то семинар, и она, страшно соскучившись, опрометью бросилась из-за стола, не доев завтрака, когда за окном промелькнула его машина.

«Папа, папа приехал!» – счастливо колотилась её сердечко.

Она влетела на веранду, ожидая распахнутых рук отца, готовая, как всегда, утонуть в его объятиях, но резко остановилась, чуть не сбив с ног невысокого рыжеволосого мальчугана с какой-то игрушкой в руках.

– Ты чего? – насупленно проговорил тот, пряча игрушку за спину. – Ты кто такая?

– Я Алька, – улыбаясь, представилась она, недоумевая, как этот конопатый с торчащими ушами мальчишка мог оказаться здесь да ещё встретиться ей, когда это непременно должен был бы сделать отец.

– Чего тебе здесь надо? Иди отсюда, – сердито проговорил мальчишка. – Это теперь мой дом и тебе здесь делать нечего.

– Как твой дом? – растерялась Алька.

Она пожала плечами, с сомнением глядя на говорившего, потом неуверенно добавила.

– Но здесь жили мои папа и бабушка. Они что, переехали куда-то?

– Никуда никто не переехал, – услышала Алька до боли знакомый голос отца и тотчас очутилась в его объятиях. – Алька, душа моя, как я скучал по тебе, – шептал ей на ухо отец. – Разве я мог уехать от тебя? Запомни: нас никто и ничто не сможет разлучить.

– Даже смерть? – счастливо смеялась Алька.

– Даже смерть! – уже не улыбаясь, произнёс отец.

Он осторожно выпустил Альку из объятий и указал рукой на высокую красивую женщину, с интересом наблюдавшую за ними:

– Вот, Алька, познакомься. Это Зинаида Григорьевна. Она теперь будет жить здесь с нами.

– Как мама? – любопытствовала Алька, с интересом рассматривая женщину, которая, усмехнувшись, уселась в её любимое кресло и оттуда наблюдала за происходящим.

– Нет, – покачал головой отец, – не совсем как мама. То есть она, конечно, мама, но это не много не то, о чём думаешь ты, – запутался говоривший, затем осторожно, словно боясь обидеть дочь, придвинул к ней рыжеволосого мальчишку.

– Она мама вот этого мальчишка. Его зовут Егор, и мне очень хочется, чтобы вы подружились.

Алька, не задумываясь, протянула руку рыжеволосому Егорке и радостно защебетала:

– Вот здорово! Идём, я познакомлю тебя со всем нашим двором.

Но мальчишка насупился и поспешно отодвинулся от неё, всем своим видом выражая нежелание знакомиться не только со всем двором, но и с ней.

– Не хочу! Иди сама, – без улыбки проговорил он, пряча свои руки за спину и, резко повернувшись, подбежал к матери.

Сидящая женщина нежно обняла сына и, не обращая внимания на Альку, заговорила с её отцом.

– Егорушка устал с дороги, ему надо отдохнуть.

Отец растерянно кивнул женщине, затем, повернувшись к Альке, заговорил поспешно, словно за что-то извинялся:

– Ты прости нас, Алька. Понимаешь, мы только что приехали, устали. Давай мы немного отдохнём, а знакомить Егора с друзьями ты будешь завтра. Лады?

Он протянул ей руку ладонью вверх, и она звонко ударила по ней своей ладошкой.

– Лады! – крикнула Алька. – Ну тогда я пойду? – на всякий случай поинтересовалась она, всё ещё не веря в кратковременность встречи.

– Иди, девочка, иди, – услышала она голос со стороны кресла и, не прощаясь, выбежала на улицу.

3

Алька знала, что отец возвращается с работы поздно, видеться им приходилось только по выходным. Поэтому в будние дни она обычно забегала проведать бабушку. Она пробовала делать это и после встречи с отцом, но в дверях, как назло, встречала её неулыбающаяся Зинаи-

да Григорьевна, и Алька поспешно ретировалась. Однажды она застала на крыльце Егора и обрадовалась этой встрече, как радовалась всему в жизни.

– Идём гулять, – затараторила Алька, хватая мальчика за руку, – идём. Я покажу тебе море, свожу в пещеру, научу искать ракушки на берегу.

Ей хотелось, чтобы тот увидел то, что так нравилось ей и её друзьям, и чтобы это непременно понравилось и ему.

– А ещё за скалой есть старый корабль, – пыталась разбудить Алька любопытство у Егора. – Мы там постоянно играем. Ну, идём.

Егор, насупясь, резко выдернул руку и заговорил неприязненно, с сердитым выражением на лице.

– Ну что ты, как пиявка, к нам присосалась? У тебя есть свой дом, вот и иди туда, а нас оставь в покое.

– Пиявка? – рассмеялась Алька. Она удивлённо приподняла брови, отчего её личико вытянулось, а глаза вопросительно и внимательно разглядывали говорившего.

– Ну чего ты сюда ходишь? – наступал на Альку Егор. – Чего тебе дома не сидится? Иди отсюда!

Он с недетской ненавистью махнул рукой в сторону Альки, и она резко отпрянула назад, испугавшись, что её ударят.

– Я ничего, ничего, – начала оправдываться Алька, пытаясь через плечо Егора заглянуть на веранду в надежде увидеть там бабушку, но веранда оказалась пустой, никто на помощь к ней не пришёл, и оторопевшая от такого негостеприимства Алька попятилась.

Ей вдруг стало жалко Егора.

«Раз он злится, – думала она, – значит, ему плохо. Счастливым плохо не бывает и злиться не на что».

Она достала из кармана платья конфету, припасённую с утра, и протянула Егору.

– На, возьми, – с улыбкой произнесла она. – Бери, мне не жалко.

Егор на какое-то время затих. Его взгляд был прикован к конфете в ярко-фиолетовой обёртке. Он даже сглотнул слюну, так ему вдруг захотелось хотя бы лизнуть её тёмно-коричневый бок. Но ненависть к этой улыбающейся и неизвестно чему радующейся девочке взяла верх, он со злостью ударил кулаком и по этой конфете, и по розовой ладошке, доверчиво протянутой к нему.

Конфета сначала вдавилась в Алькину ладошку, словно не хотела покидать её, а затем подпрыгнула и упала на ступеньки веранды. Алька с недоумением посмотрела сначала на Егора, затем перевела взгляд на конфету. Ей вдруг захотелось зареветь от обиды и боли. Её маленькое сердечко болезненно замерло от несправедливости. Здесь её раньше никогда не обижали, всегда радовались её приходу. Неужели всё изменилось и ей нельзя приходить сюда?

Какой-то странный неизвестно откуда взявшийся комок в горле мешал ей. Она не знала, что делать, и всё ещё держала покрасневшую ладошку на весу.

– Послушай, как тебя там? – услышала она за своей спиной и повернулась к говорившей.

Зинаида Григорьевна возвышалась над Алькой. Она некоторое время удивлённо рассматривала её, затем наклонилась ниже и заговорила тихим голосом, нависая над девочкой.

– Не приходи больше сюда! Никогда не приходи, – впечатывала она жестокие слова в крохотное Алькино сердечко. – Нечего тебе здесь делать! Твой отец теперь будет заботиться о моём сыне и обо мне. Поняла? Иди домой. Там есть кому о тебе побеспокоиться.

Она двумя пальцами, скривив губы, взяла Альку за плечо и легонько подтолкнула её к выходу. Когда девочка непроизвольно сделала несколько шагов, демонстративно поднялась на веранду вместе с сыном и захлопнула за собой дверь.

4

Алька удобно расположилась на ступеньках крыльца. Перед ней на старенькой, видавшей виды салфетке возвышалось всё её хозяйство: морские ракушки, разноцветная галька, отшлифованная до блеска морской водой, и огромная зелёная пуговица с золотистыми прожилками.

Два Алькиных приятеля Петюня и Сомик, прозванный так за большую голову, уже полчаса рассматривали это богатство, не зная, стоит ли менять свои только что добытые после прибоя ракушки и камешки на Алькины.

Петюня вывернул карманы, и на ступеньки крыльца, звонко цокнув округлым бочком, соскользнула беловато-рыжая ракушка с необычной ярко-зелёной полоской на боку.

– Ух ты! – всплеснула руками Алька, увидев такую красоту, и осторожно прикоснулась к ней.

Ракушка слегка вздрогнула от прикосновения и неожиданно перевернулась на другой бок.

Вся её красота тут же померкла, но Петюня решительно развернул ракушку, и необычно яркая зелёная полоска вдоль её продолговатого тела снова весело заискрилась на солнце.

– Нравится? – поинтересовался Петюня, а когда Алька, сглотнув слюну, решительно потрянула головой, подвинул поближе к ней. – Хочешь, бери!

Алька на мгновение растерялась от такой щедрости. Одной рукой она поспешно схватила ракушку и крепко зажала её в кулачке, словно испугавшись, что Петюня непременно передумает и потребует возврата. Другой же решительно придвинула Петюне всё своё богатство.

– Бери что хочешь, – защебетала она, – не бойся, если хочешь, бери всё.

Но Петюня, ошавев от своей щедрости, отрицательно покрутил головой.

– Бери, не беспокойся, – засуетился он, отодвигая Алькино богатство, – я ещё найду, не переживай.

– А вдруг такую не найдёшь? – засомневалась Алька, боясь разжать кулачок, и на всякий случай поглубже засунула руку в карман платья.

– А я к тебе буду приходить, – спокойно отреагировал Петюня. – Ты ведь будешь мне давать полюбоваться ей?

– Конечно, – выдохнула Алька и тотчас протянула Петюне раскрытую ладонь, на которой удобно расположилась диковинная ракушка.

Мальчишки с упоением рассматривали ракушку, и никто не заметил, как к ним подошла Алькина бабушка и внимательно наблюдала за ними.

– А почему моя любимая внучка перестала наведываться ко мне? – раздался её добродушный голос, и ребятишки, занятые своими нехитрыми делами, вздрогнули от неожиданности и разом повернулись к говорившей.

Алька взвизгнула от радости, а затем, позабыв и про ракушку, и про своих друзей, бросилась к бабушке и прижалась к ней. Мальчишки некоторое время с любопытством наблюдали за этой сценой, а затем, не сговариваясь, дружно зашагали в сторону пляжа.

– Алька, – продолжала допытываться бабушка, – ты забыла нас? Почему не приходишь?

Алька опустила голову. Тяжело не по-детски вздохнула и прошептала:

– Я приходила.

– Приходила? – удивлённо переспросила бабушка, затем, наклонившись к девочке, поинтересовалась: – Когда? Почему же я тебя не видела?

Но Алька молчала. Она никогда никому не жаловалась, не хотела этого делать и сейчас. Ей всегда казалось, что взрослые не могут поступать плохо или неправильно, значит, всё тогда было сделано так, как нужно. Альке вдруг захотелось зареветь от обиды, непонимания происходящего, от нахлынувших воспоминаний, но она только ещё ниже опустила голову и несколько раз шмыгнула носом.

– Всё понятно, – услышала она бабушкин голос, вдруг ставший каким-то чужим.

– Я приду, приду, – заволновалась Алька. Ей так не хотелось отпускать бабушку, что она тут же для себя решила непременно завтра же забежать к ним в гости, не обращая внимания на то, как её там примут Егор и Зинаида Григорьевна.

«А может, подарить ему новую ракушку? – подумала она. – И тогда, увидев такую красоту, он непременно подберёт».

Некоторое время она внимательно рассматривала Петюнин подарок и вдруг поняла, что ей так не хочется расставаться с ним, что она тут же передумала дарить Егору, и ракушка была бережно водружена в самый центр сокровищ.

5

Мужчина устало поднимался по ступенькам на веранду своего дома. День был тяжёлым, да и жара последнее время донимала. В полумраке помещения он почувствовал лёгкое движение и удивлённо приподнял брови. В огромном кресле сидела его мама, и, хотя время было позднее, было件нятно, что уходить отсюда она не собиралась.

– Что-то случилось? – с тревогой спросил он.

Ещё с самого детства он помнил, что это место она занимала только тогда, когда ей нужно было во что бы то ни стало поговорить с сыном.

– Случилось! – услышал он спокойный голос матери и привычно, как в детстве, опустил на коврик рядом с креслом и положил голову ей на колени.

– Сынок, – раздался спокойный голос матери, и мужчина, не поворачивая головы, прикрыл глаза. Он всегда слушал её так, понимая, что такие разговоры происходят нечасто и по самым серьёзным вопросам. – Сынок, я никогда не думала, что жизнь моя будет бесконечно длиться и, как у всего, у неё тоже будет свой конец, – осторожно начала она и жестом остановила сына, пытавшегося возразить ей. – Мне очень бы

хотелось, чтобы в последние минуты моей жизни со мной рядом находился самый родной мой человек, мой сын. И даже если он будет единственным, кто тогда будет со мной, то я буду самой счастливой мамой. Ты всегда находился рядом в самые тяжёлые и самые радостные минуты моей жизни. А что ещё надо матери? Помни об этом. В жизни каждого человека должен быть самый родной и самый близкий человек. А быть им может только тот, кому мы либо обязаны жизнью, либо тот, кому дали жизнь.

– Что случилось, мама? – поинтересовался мужчина, не скрывая удивления.

– Разве ты не обратил внимания на то, что твоя дочь уже давно не навещает нас? Это так не похоже на неё.

Мужчина чуть приподнялся с колен и, напряжённо вглядываясь в лицо матери, испуганно спросил:

– С Алькой что-то случилось?

И столько боли и отчаяния прозвучало в его голосе, что мама в ответ испуганно замахала руками:

– Что ты, что ты! Всё нормально! Успокойся. Просто я сегодня заходила к внучке и узнала одну вещь. Оказывается, она приходила к нам, но почему-то ни ты, ни я её не видели, хотя кто-то из нас непременно находился дома.

Мужчина опустил голову. Он понимал, что должен что-то сказать, объяснить, но слов не находил. Затем он обхватил голову руками и застонал тихо, но столько боли было в этом стоне, что мать решительно опустилась рядом с ним и начала осторожно гладить его по голове.

– Отец никогда в своей жизни не должен совершать поступков, за которые ему потом придётся краснеть перед детьми, – уверенно проговорила она.

Мужчина кивнул в ответ и произнёс извиняющимся голосом:

– Ты прости Зинаиду. Она мать и просто защищала своего ребёнка.

– Сынок, – услышал он в ответ то, что никак не ожидал услышать, – настоящая мать, которая сама пережила одиночество и воспитывала ребёнка одна, сделает всё, чтобы заставить своего нового мужа помнить о своих собственных детях, иначе он забудет и её ребёнка. И запомни: мать – это та, которая любит любого ребёнка, а мачеха – только своего.

Она ещё немного помолчала, поднялась и уже в дверях добавила:

– Если мне когда-нибудь придётся краснеть за себя, я буду испытывать чувство стыда и сожаления. Но не дай Бог краснеть мне за своего сына.

6

Полумрак наступающего вечера метр за метром отвоёвывал пространство небольшой комнаты. В наступающей темноте мебель начинала утрачивать свои очертания, только высокий силуэт женщины около окна чётко вырисовывался на фоне света, мягко льющегося из верхнего угла, очевидно, от уличного фонаря. Она услышала шаги мужа и, не поворачиваясь и не меняя позы, заговорила с нескрываемым раздражением, выплёскивая обидные слова:

– Ну, что тебе напела твоя мамаша? Пожалела сиротинку внушеньку?

– Ты о чём, Зина? – переспросил мужчина, так и оставшись стоять в проёме двери.

– Жалко ей девочку-бедняжку, – шипела Зинаида, боясь перейти на крик. – А кто моего сына пожалеет? У неё и мать, и отец, и хахаль матери под боком, и бабка. Не многовато ли будет?

Она резко повернулась к мужу, скрестив руки на груди. Вся её поза выражала готовность немедленного отпора, губы слегка дрожали, а желание кричать и требовать всё сильнее и сильнее просилось наружу.

– Алька – моя дочь, – тихо произнёс мужчина. – Запомни это навсегда. Моя дочь, а я её отец. А из этого следует, что никто никогда не только не сможет поспорить или разлучить нас, но даже и делать какой-либо попытки в этом направлении не должен. Иначе он просто узнает, что такое мой гнев и моё недовольство.

– Почему? Почему? – зашипела Зинаида, понимая, что кричать и требовать ей просто не позволят. – Если ты живёшь со мной, то и занимайся моим сыном, а ей пусть занимается сожитель её матери.

– Замолчи! – загремел в ответ мужчина. – Мне противно слушать про эту делёжку: моё, не моё. Ты о чём сейчас говоришь? Или на время забыла, что ты тоже мать?

– Поэтому так и сражаюсь за сына и хочу, чтобы и ему в этой жизни что-то принадлежало.

– Но если ты мать, – не сдавался мужчина, – то должна меня в первую очередь заставлять не забывать о своём ребёнке, а не перетягивать одеяло на себя.

– Не хочу, не буду, – кипятилась Зинаида. Её всё вокруг начинало раздражать: и тёплый вечер, не приносящий прохлады, и звуки ночного города, и правильный, но такой не нужный ей сейчас смысл слов мужа.

– Зина, – мужчина подошёл к жене и обнял её. – Я не хочу ругаться с тобой. Ну скажи, разве я плохо отношусь к твоему сыну? Попробуй и ты принять мою дочь. Она не просто часть меня, она самое важное и дорогое достижение в моей жизни. Если ты любишь меня, то постарайся найти с ней общий язык.

– Она забирает тебя у нас, – заплакала Зинаида, прижавшись к мужу. – Конечно, для тебя мой сын – совершенно чужой ребёнок. Но для меня он самый родной.

– Как и моя девочка для меня, – усмехнулся мужчина, – значит, мы легко сможем понять друг друга.

– А если нет? – неожиданно язвительно произнесла Зинаида. – А если тебе придётся выбирать?

Мужчина задумчиво опустил голову, потом, взяв жену за руки, произнес твёрдо, глядя ей в глаза.

– Я не думаю, что выбор будет в твою пользу!

7

– Папочка, – раздался утром с веранды звонкий голос Альки, и отец, как всегда, распахнул объятия, в которых немедленно утонуло хрупкое тельце его дочери.

– Алька, – зашептал он ей на ухо, – солнышко моё, как я по тебе соскучился!

Девочка выпорхнула из его объятий, ловко сунула руку в карман платица и что-то вытащила оттуда.

– Папуля, отдай Егорке это, мне не жалко.

Она протянула раскрытую ладошку, на которой, покачиваясь, возлежала ракушка с ярко-зелёной полоской, весело искрившейся на солнце.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

– Я люблю вас, люди! – кричала Даша, приподнимаясь на цыпочки и размахивая цветастой косынкой.

Она была счастлива тем незатейливым счастьем, какое случается только в восемнадцать лет, когда вдруг чувствуешь себя совершенно взрослым человеком, становишься пьяным от осознания долгожданной зрелости, окончательно так и не поняв значение этого. Даша сто-

яла на самом краю обрыва и бесстрашно разглядывала сверху мутновато-холодные воды местной речушки, лениво плескавшейся здесь уже тысячу лет.

Тёплый ветерок ласково прошёлся по её лицу, и она, запрокинув голову, стала жадно вдыхать аромат луговых трав, принесённых им.

– Ну пойдём, – канючила подруга Вера, держась как можно дальше от крутого обрыва, и старательно прикрывала плечи старенькой шерстяной кофтой, усердно кутаясь в неё.

Она не понимала состояния Даши, часто не принимала её открытости всему новому и неожиданному, так и не привыкнув за время их длительной школьной дружбы к её странностям.

– Ты чего орёшь? – неожиданно прозвучавший голос заставил Веру вздрогнуть, а Даша только искоса взглянула на говорившего мужичка и снова подставила лицо ветру, разрешая ему играть с её волосами, и наслаждалась его ласковыми прикосновениями.

– Дядя Лёша, ты только посмотри, какая красота вокруг. Счастье – жить в этом мире, так здорово видеть всё это. Понимаешь, нас не будет, а речка так же будет барахтаться в низине, журавли – курлыкать в небе, а мир – незыблемо стоять. Я хочу упиться этой красотой, а то снова вернусь в каменно-мрачный город и заскучаю по нашей деревне, по этому обрыву, по тебе.

Она ловко повернулась на одной ноге, испугав Веру, и бросилась на шею престарелому кавалеру, с улыбкой наблюдавшему за ней.

– Мы приходим и уходим, – усмехнулся Алексей Степанович, – а мир ждёт новых гостей и всегда рад им.

Он, как и его племянница, умел радоваться жизни, отчаянно любил её и сопротивлялся любой возможности почувствовать себя ненужным.

– А что было бы, если бы мы не уходили из этого мира? Ну живём и живём себе. Станный мир, сам стоит веками, а нам отмерил всего ничего. Почему так, дядя Лёша?

– Одну минуту прожить честным человеком всегда легче, чем час. Вот он и даёт нам короткое время, чтобы мы не натворили глупостей. А мы и за то время, которое отпущено нам, столько гадостей успеваем сделать, что и подумать страшно. И делаем-то походя, просто так. Ни разу подвига или хорошего дела просто так не совершили почему-то. А если и сделали что-нибудь хорошее, обязательно достойную плату за это ждём. Не жизнь, а базар.

Алексей Степанович устало махнул рукой, словно разрубал сказанное, не допуская его прорваться в души, чтобы лишний раз не теревать их и не давать возможность ждать подвоха от обронённой фразы. Вера же, едва взглянув на говорившего, недовольно повела плечами, не принимая его суждений. Она была уверена, что любое хорошее дело должно непременно вознаграждаться, а плохое – наказываться, тогда всем захочется совершать только хорошие поступки. Даша же, безвольно опустив руки вдоль туловища, насторожилась, припоминая, сколько добрых дел ей пришлось на совершить за свою короткую жизнь и какой награды она ждала за это. Выходило, что дел было мало, а награды вообще не припоминались. Она посмеялась над собой и побежала догонять подругу, порядком уже подуставшую от первого дня пребывания в отчем доме и спешащую как следует отдохнуть.

Дашке непременно хотелось совершить какой-нибудь подвиг: спасти детей из горящего дома, остановить на скаку лошадь. Но, к сожалению, жизнь вокруг была однообразно скучной. Дома не горели, лошади не скакали, и никаких очевидных подвигов в ближайшем будущем не намечалось. Жизнь была ровной и одинаково равнодушной ко всему и к самой Даше. А ещё Даша очень часто думала о любви. Она мечтала встретить необыкновенного человека, непременно героя, потому что рядом с ней должен находиться только герой, не меньше. Но герои в деревне не появлялись, да и парней тут практически не было. Основное мужское население состояло либо из местной ребятни, с которой она когда-то училась в школе, либо из уже остепенившихся мужиков, парни постарше уезжали в город и часто оставались там, наведываясь в родную деревню только на время отпуска или каникул.

В родном училище, где Даша приобретала специальность медицинской сестры, о чём мечтала со школьной скамьи, молодых людей практически не было, а среди попадавшихся ей в длинных коридорах юношей никто даже внешне не тянул на героя. В ближайшее время рассчитывать на невесту откуда свалившегося принца не приходилось, и это событие откладывалось на потом, отодвигаясь всё дальше и дальше во времени. С этими тоскливыми мыслями она уснула. Разбудил её страшный крик, доносившийся откуда-то со стороны, где жили соседи: нелюдимый мужик Фёдор, его жена – хохотушка Любаша и их двое детей. Кричала женщина,

кричала отчаянно, выводя на высокой ноте один только звук: «А-а-а-а!».

Несмолкаемо-нудное «а-а-а-а» неслось по деревне, больно стучало в висках, заглушая все другие звуки, становясь навязчиво главным. Испуганная Даша рывком скинула одеяло и подбежала к окну. Там, в соседнем дворе, металась Любина мама, сжимая голову руками. Она тянула своё непрекращающееся «а-а-а» и, словно слепая, ходила кругами по двору. Толком не понимая, что случилось, Даша догадалась, что пришла беда, и, не мешкая ни минуты, выскочила во двор в наспех накинутом халатике.

Не разбирая дороги, она перескочила через низкую изгородь, подбежала к Любиной маме и, схватив её за руки, заговорила, проглатывая слова.

– Тёточка Манечка, тёточка Манечка, хорошая моя, давайте сядем, давайте сядем.

Даша тянула её в сторону низкого покосившегося сарайчика, где одиноко стояла наспех сколоченная скамейка, и тётя Маня послушно пошла за ней. Девушка усадила её около себя и оглянулась назад, словно искала подмогу, но двор был пуст и ждать помощи было неоткуда. Даша гладила плачущую женщину по рукам, смахивала слезинки с лица, не решаясь спросить, что случилось.

Тётя Маня подняла на Дашу глаза и тихо, боясь спугнуть неожиданно наступившую тишину, произнесла:

– Любаша умерла. Только что позвонили из больницы. Фёдор поехал туда. Нет больше, Дашенька, моей кровиночки.

От страшной новости Дашины глаза до краёв наполнились слезами, и она, не вытирая их, громко, отчаянно заревела во весь голос. Захлебываясь в немом крике, поднимающемся откуда-то снизу живота леденящим холодом и выплёскивающимся с бульканьем из чёрного провала рта, Даша всю боль потери взяла на себя, заставив мать Любаши на какое-то мгновение притихнуть, а затем тихо заплакать, все ещё до конца не осмысливая горе.

Хоронили Любу через день, и Даша уже не могла пойти с подругой в клуб, так как оставшиеся без мамки близнецы требовали внимания. Она до вечера провозилась с ними, затем уложила их около себя, и они втроём дружно уснули, намучившись за день.

Через девять дней тётя Маня уехала в соседнее село, где жила её младшая дочка-инва-

лид, и заботу о детях взяла на себя Дашка. Она прибежала рано утром в соседний двор, осторожно, боясь разбудить малышей, открывала дверь и шла в спальню, где на одной кровати, разбросавшись во сне, лежали близнецы. Фёдор ухаживал рано, кивком головы приветствовал Дашу, иногда ронял пару ничего не значащих слов, и она принималась за хозяйство. Ей доставляло удовольствие возиться с ребятней. Часто они смотрели на неё огромными голубыми глазами, и она узнавала взгляд Фёдора.

Всё лето Даша провела, разрываясь между домом дяди и соседа. Ребятишки постоянно требовали внимания, и она, сама не понимая как, втянулась в ежедневную заботу о них, всё больше и больше привязываясь к детям.

В конце августа Фёдор забеспокоился. Мать покойной Любаши никак не могла оставить младшую дочь, а Даша готовилась к отъезду в училище. Он бегал по деревне в поисках няньки и, когда понял, что не сможет её найти, болезненно затосковал, всё чаще стал прикладываться к спиртному, как будто оно могло помочь разрешить ситуацию.

– Прекрати, – требовала Даша, по-детски негодую на его беспомощность, а когда до конца осознала, что Фёдору одному не преодолеть свалившиеся на него заботы, решительно заявила.

– Я завтра поеду в училище, напишу заявление на академический отпуск на год. Помогу тебе, а через год или няньку найдём, или очередь в детский сад подойдёт, – заговорила Дашка, веря в сказанное.

Фёдор поднял на неё огромные голубые глаза, и Дашка увидела в них столько благодарности, что от этого пришла в замешательство и, чтобы как-то сгладить обуревавшие её чувства, затараторила.

– Ничего страшного со мной за год не случится. У нас многие идут в академ, если у них появились серьёзные причины. А что может быть серьёзнее детей?

Не дожидаясь ответа, она, как всегда, когда смущалась, резко повернулась на одной ноге и убежала домой собираться в дорогу.

Зима пришла холодная, с неожиданно обильными снегопадами и суровыми утренниками. Деревья принарядились в белоснежные шубки, укутались до половины сугробами, готовясь пережить стужу. Тайга вдали темнела в сизом тумане, а небо украсилось миллионами созвездий,

заставляя прохожих лишний раз полюбоваться их неотразимостью.

Заботу Даши прибавилось. Хотя Фёдор всю тяжёлую работу по дому взвалил на свои плечи, она, зная, что он немилосердно устаёт, намаявшись в мастерских, старательно помогала ему. Он никогда не жаловался, оставаясь всё тем же молчуном, но Даша видела, как трепетно и заботливо он относится к детям, и уже не боялась его и даже не торопилась вечерами домой, пока не уложит малышей спать.

– Иди отдохни, – стоя у кровати заснувших детей, шептал Фёдор, и Даша послушно, но неохотно отступала к двери, накидывала пальто и бежала напрямик в соседний двор, где её поджидал недовольный её отсутствием Алексей Степанович, давно скучавший в тишине пустого дома.

– Ох, Дашка, – часто ворчал он, когда она, раскрасневшись от мороза, вбегала в теплоту натопленной комнаты, – не доведёт тебя до добра твоё бескорыстное внимание к соседу. Сядет он тебе на шею, а тебе учиться надо.

– Не сядет, – не соглашалась Дашка и смеялась, представляя, как огромный Фёдор садится ей на плечи. – Не сядет, не такой он человек. Фёдор мне помогает, а как он любит детей! Редкий мужчина будет так заботиться о малышах, как это делает Фёдор. Да грех тебе жаловаться, дядя Лёша. Дрова он тебе нарубил, изгородь поправил. Да о чём ни попроси его, всё тут же без лишних слов делает.

– Конечно, – соглашался Алексей Степанович, – кто же говорит. Хозяин он хороший да и человек неплохой. Только я ему при встрече скажу, чтобы няньку мальчикам искал. Вот весна наступит, уж пусть расстарается.

– Найдёт, не переживай. А я ведь до осени могу с детьми быть. Занятия только в сентябре начнутся, так что времени для поисков няньки ещё предостаточно.

Сумасшедшая весна затопила низины, оголила всех неожиданно ранним теплом. Густой аромат распускающихся листьев наполнил округу. Фёдор, оставшись один с малышами в воскресенье, решил одеть их полегче и пойти прогуляться в сторону реки. К вечеру у ребятишек неожиданно поднялась температура, и он, потерявшись от свалившейся на него беды, прибежал к Алексею Степановичу за помощью. Даша немедленно отправила его за фельдшером, а сама принялась растирать горящих от жара

ребятишек настоем на водке, заранее припасённым для этих нужд.

Поседевшая от возраста и постоянных забот, фельдшер тётя Люба выписала лекарство и объявила Дашу ставить ребятишкам уколы антибиотиков. Теперь ей пришлось вспомнить всё, чему её учили в училище, и она, напуганная свалившейся на неё ответственностью, рьяно принялась за дело. Даша не отходила от детей ни днём, ни ночью. Она строго по часам давала им лекарство, заставляла полоскать горло, отпаивала травами, а ночами, примостившись рядом, просыпалась от любого шороха. Через неделю близнецам стало намного лучше, они уже не лежали в кровати, а смешно переваливаясь, бежали по комнате.

Дашка же, наоборот, словно взяв на себя всё страдание и болезнь детей, свалилась с высокой температурой. Она металась по кровати, комкая руками простыню, пыталась приподняться, чувствуя, что нужна малышам, но тут же падала навзничь и на какое-то время затихала в забытьи. Напуганный невесть откуда свалившейся на него бедой, Алексей Степанович поднял на ноги полдеревни, заставлял фельдшера по два раза в день навещать к нему и с укором поглядывал на Фёдора, не отходившего от Даши. Близнецы отнимали у него много времени, но он, отпросившись на работе, делил его между ними и заболевшей девушкой.

Фёдор чувствовал себя виноватым в том, что эта маленькая девочка, не задумываясь бросившаяся к нему на помощь, сейчас сама, как ему казалось, по его вине, оказалась беспомощной. Он, как раненый зверь, метался по комнате, с ужасом представляя, что в угоду его благополучию ещё одна молодая жизнь будет принесена в жертву. Не верящий ни в чёрта, ни в Бога, он отчаянно молился, прося для Даши выздоровления. Иногда, забывшись на какое-то мгновение, он обращался к покойной жене и просил её простить его за такое внимание к другой женщине, но Люба безразлично улыбалась с большого портрета, одиноко висящего на тщательно выбеленной стене, оставляя за Фёдором право разбираться в сложившейся ситуации.

Только через неделю Даша пришла в себя. Фёдор завернул её в одеяло и вынес на улицу, напоенную солнцем, и Даша с жадностью вдохнула весенний воздух, досадуя, что не может пока побегать вместе с малышкой по двору. Ребятишки играли тут же, время от времени тереби-

ли Дашку, капризничали, обижаясь на её нежелание поиграть с ними, и убежали снова, едва где-нибудь неожиданно вздрагивали крылья низко пролетающей бабочки.

То ли от весеннего тепла, то ли от уходящей болезни, навсегда покидающей её тело, к Даше снова вернулось счастливое осознание её нужности этому миру. Она с улыбкой смотрела на весело смеющихся близнецов и радовалась, что скоро сможет возиться с ними, вернуться в чудесный мир забот и тревог. Она вспомнила, как мечтала совершить подвиг, и засмеялась этому уже давно забытому желанию. Просто времени на подвиги катастрофически не хватало. Даше было тепло и уютно здесь, настораживало только отсутствие долгожданного героя. Неожиданно она услышала звон разбивающихся поленьев и посмотрела в сторону, где Фёдор возился с дровами. Он почувствовал её взгляд и оглянулся с виноватой улыбкой. Огромные голубые глаза Федора, как два бездонных озера, вдруг плеснули в Дашку странно тягостным сладостным чувством, и она, до конца не веря в своё счастье, боясь признаться в свершившемся чуде, навек утонула в них.

ГЛУХАРИНЫЙ ВАЛЬС

(из книги «Там, где не было войны»)

Ветка рябины монотонно била в окно, словно пыталась достучаться до спящих. Сквозь сон Мишаня услышал, как мать поднялась с кровати и пробубнила что-то недовольным голосом в сторону стука. Ни сил, ни желания открыть глаза у Мишани не было, и он, не обращая внимание на хлёсткие удары по стеклу, снова погрузился в дремоту.

Сны ему всегда снились хорошие. Хотя шёл третий год войны, она почему-то ни разу не приснилась. Да и как может присниться то, чего в жизни видеть не приходилось.

Зато Мишане часто снился отец, и, проснувшись, он начинал болезненно скучать, потому что там, во сне, они были вместе, а наяву – порознь. А ещё ему снился лес, начинавшийся на пригорке за неглубокой речкой, которую деревенские легко переходили вброд. Сегодня сон был особенно хорошим. Он видел улыбающегося отца, со стареньким ружьём за спиной, и себя, гордо вышагивающего рядом с ним в сторону леса. Там, на ближайшей сосёнке, неожиданно хрипло выкрикнул рябчик и застучал остреньким клювиком по стволу. Мишаня засмотрелся

на птицу, а отец вдруг осторожно начал трести его за плечо, наклоняясь к самому лицу так низко, что тот почувствовал тёплое дыхание.

– Мишаня, сынок, вставай, – разбудил голос мамы, и сон, где был отец, неожиданно растаял, испуганно рассыпался.

– Вставай, сынок, поднимайся, – шептала мать, рука которой нежно гладила сонное личико мальчика. Ей хотелось, чтобы он ещё поспал, понежился, пожил в красочных сновидениях, где были мир, отец, семья. В настоящем этого не было, да и не могло быть, когда где-то далеко от их села гремели взрывы, гибли люди, где лицом к лицу с врагом сражался её муж и отец Мишани, где слово «война» было явью.

А она, распластавшись по земле чёрной смертью, как ни тужилась, не смогла доползти до Урала, захлебнулась в волжской воде. И то, что били врага не генералы и адмиралы, а простые русские мужики, было самым высоким показателем силы духа народа. А если у народа неимоверная сила проявляется в духовности, значит, присутствует она в нём вне зависимости от места рождения, возраста и пола, и поэтому победа над врагом неизбежна.

Село, где жил Мишаня, хотя и пряталось в сибирской таёжной глухомани, исправно выполняло свою работу по снабжению фронта овощами, мясом, молоком. Выполняло в ущерб себе, отправляя на фронт всё, что вырастило, надоило, собирало, оставляя лишь малую толику. Отправляло, не ропща, не жалуясь, понимая, что там труднее, страшнее, отправляло, не жалея, верило, что и от этого зависит долгожданная победа.

И поэтому Мишаня, когда мама будила его, не залёживался, вскакивал стремительно, пряча остатки сна в уставших глазах. Хотя работы зимой поубавилось, в деревне она всегда находилась. Мишаня хорошо помнил, как, будучи мальцом, помогал отцу, орудуя грабельками или лопаткой, которые тот старательно мастерил для него. Но за то время, пока отца не было дома, Мишаня подрос, и теперь в руках удобно умецался отцовский инструмент. Казалось, что касается не черенка лопаты, а мозолистой ладони отца. От этого силы прибавлялось, и Мишаня старательно приводил в порядок двор, ворошил посеревший снег на прошлогодних грядках.

Ранняя весна упорно прокладывала себе путь в сугробах, выдавливая из веток деревьев набухающие почки, звенела первой капелью.

Под её натиском бугры и пригорки чернели проталинами, а первые тёплые солнечные лучи освобождали землю от посеревшего ноздреватого зияющего прорехами зимнего покрывала. Лесное братство по-своему приветствовало приход весны, наполняло тайгу неистовым пением и добродушным рычанием. Весна – время особое. Природа в очередной раз готовилась к перерождению. Она терпеливо и с любовью слушала истошный ор птиц, которые старались перекричать друг друга, где каждая верила в то, что в этом весеннем хоре будет услышан именно её голос. Они так увлекались сольными концертами, что забывали про осторожность. И если до войны бить зверя и птицу в это время не разрешалось, то сейчас голод одерживал верх, и люди, забыв про запреты, всё чаще наведывались в тайгу. Живность от истребления спасало только то, что мужиков в деревне почти не осталось, а женщины выполняли не только свои прямые обязанности, но и дела мужчин.

75
Взрослели в это время рано. Мальчишки с пяти лет взваливали на себя обязанности мужчин, девочки помогали по дому. Никто из ребятни не жаловался, поскольку осознавали всю необходимость свалившейся на них работы, а часто и свою незаменимость. Мишаня, как и его ровесники, спокойно принимал происходящее и твёрдо верил в его временность, с нетерпением ожидая окончания ненавистной войны и возвращения отца. Именно это и послужило для него стремлением проявлять свою взрослость во всём: в учёбе, помощи по дому, осознании себя единственным мужчиной во временно поредевшей семье.

Жизнь без отца стала для него хорошим учителем. Если раньше он только уносил колотые дрова и складывал в поленницу, то сейчас сам, пусть не с одного удара, раскалывал берёзовые кругляки. И хотя вначале они с трудом поддавались, то со временем уже не ерепенились, а, спокойно дожидаясь своей очереди, подставлялись под удары колуна.

Вот и сегодня, натаскав дров, он растопил печку и чинно уселся за стол, дожидаясь скудного завтрака, приготовленного матерью. Ел степенно, не торопясь, будто надеялся, что от этого еды станет больше и из-за стола он выйдет сытым. Увы! Чуда не произошло. Порция осталась по-прежнему небольшой, и Мишаня поднялся с чувством голода. Мама протянула кусочек хлеба, аккуратно завернутый в холщовую тряпочку,

он, отправляясь в школу, с жадностью съел его за дворя.

– Мишаня, – услышал он голос закадычного друга Степана, жившего через три дома. – Слышал, что наемдн Лёшка Хромой говорил?

Мишаня, не оборачиваясь, неторопливо зашагал в сторону школы, не выказывая особого интереса к словам друга, хотя внутренне напрягся. Он знал, что Алёшка, по инвалидности негодный к воинской службе, жил на заимке, все таёжные новости в деревню приносил он.

– Ну чего там? – не услышав продолжения, пробасил Мишаня.

Конечно, он мог не спрашивать, дожидаться, когда Стёпка не выдержит его молчания, но любопытство взяло верх, и он, искоса взглянув на улыбающееся лицо друга, приостановился.

– Чего, чего? – передразнил его Стёпка, довольный вниманием Мишани, и заговорил быстро, словно боялся упустить самое важное.

– Глухарь токовать начал! Вот чего! – захлёбываясь от волнения, выпалил он и гордо добавил: – Алёшка матери двух птиц приволок. Месяц теперь жировать будут.

Мишаня даже присвистнул от такой новости, затем остановился, соображая, идти ли ему в школу или сделать что-то такое, что дало бы возможность успокоиться его сердечку. Сейчас он мог думать только об этом, а всё остальное стало ненужным. Как и все деревенские, Мишаня знал, что токование глухаря – это не только проявление природной необходимости большой и сильной птицы, но ещё и возможность незаметно подкрасться к нему и при определённой сноровке заполучить обед. Начало «глухариной свадьбы», как называли этот период деревенские, может подарить, пусть даже на короткий период, сытую жизнь. На какое-то мгновение он почувствовал во рту привкус уже забытого мяса, и под ложечкой противно засосало, напоминая о голоде.

Мишаня понимал, что торопиться пока не стоит, потому что ток у глухарей – длительный период. Птицы в это время токуют без самок, разместившись стайками на деревьях, поэтому самый разгар токования придётся подождать, когда они спустятся на землю и, красуясь перед курочками, станут глухими и невосприимчивыми ко всему происходящему, кроме исполнения любовной песни.

«Конечно, – размышлял Мишаня, не слушая Стёпкину болтовню, – Алёшка – знатный охот-

ник. Легко одним выстрелом снимет птицу, а смогу ли я так?» Он понимал, что старенькое отцовское ружьишко и десяток патронов – это настоящая драгоценность в таёжной глухомани, которые смогут накормить и его, и маму, лишь бы не подвели в неумелых руках.

Мальчишки, живущие около тайги, с детства умели стрелять, выбирать дичь из капканов, идти по следу зайца. Умел всё это и Мишаня, просто раньше, пока был рядом отец, он мог только помогать ему: подносил убитую птицу или зайца, перезаряжал ружьё, а если и стрелял, то в основном в воздух или в снежки, прикрепленные отцом к веткам деревьев. По-настоящему же самостоятельно принимать участие в таком серьёзном деле, как охота, ему ещё не приходилось. Да к тому же и отец никогда не стрелял в птицу и в зверя, часто любовался ими из-за укрытия, а на вопросительный взгляд Мишани с улыбкой приговаривал:

– Любить нужно живое, оно украшает природу. Нельзя стрелять в живое, это всё равно что выстрелить в любовь, ибо именно от любви и рождается всё живое в этом мире.

Мишаня недоверчиво вслушивался в слова отца, до конца не понимая их смысл. Часто довоенная жизнь сельчан зависела именно от этого живого, чем кормилась добрая половина деревни.

Он с трудом досидел до конца уроков и, не дождавшись Стёпки, побежал домой.

За деревней, ниже по течению речушки, огибавшей холм, лежали моховые болота, на самых сухих местах которых толпились сосны. Дойти туда не представляло особого труда, тем более каждый деревенский знал, что глухари всегда там, где сосны и болота.

«Для тока, – деловито рассуждал Мишаня, – глухарь обязательно выберет чистый участок леса. Он обитает там, где нет кустов и высокой травы, чтобы можно было издали увидеть приближающегося хищника. А сейчас ничего этого и в помине нет. Значит, на белом снегу разглядеть птицу нетрудно, даже если я отправлюсь пораньше».

Он пытался вспомнить, где он видел такую поляну, но мысли путались, не давая возможности воскресить в памяти нужную информацию.

Уже дома, наскоро пообедав полупустыми щами, переоделся в старенькую, уже малую одежду и побежал на ферму. Коровы лениво гуляли в загоне, ожидая, когда им поменяют

мокрые истоптанные подстилки на сухие. Работал в коровнике не только он. Через некоторое время помещение заполнилось шумом голосов деревенских ребятишек, которые со знанием дела сгребали старое сено, а женщины застилали освободившееся место сухим. И хотя Мишаня работал старательно, мыслями он был далеко и от этой работы, и от уроков. Последнее время голод всё чаще напоминал о себе, и Мишаня понимал, что принести домой глухаря, а то и двух – это возможность наесться досыта.

Вечером он снял со стены старый дробовик отца, тщательно осмотрел его, затем намотал на шомпол кусок ткани, смоченной в машинном масле, и начал старательно протирать дуло. Всем хитростям охотничьего быта научил его отец, и Мишаня проделал работу, не нарушая заведённого порядка.

Две недели пролетели незаметно, и о том, что затоковал глухарь, знало уже полдеревни. Однако Мишаню это не пугало. Конкурентов у него в деле охоты почти не осталось. Война и тяжёлая работа проредили их количество. Патронов у многих в запасниках не доставало, и времени на долгую отлучку из дома не каждый мог найти. Ждать глухаря не минутное дело. Прилетит, не прилетит – вопрос случая и везения. А выбирать между ними – всё равно что решать в уме задачу с двумя неизвестными. Тут одного везения мало, а знания и умения с собой забрали ушедшие на фронт. Вот и выбирай: испытывать судьбу или смириться с неизбежностью происходящего.

Мишаня долго рассуждал, где может обитать глухарь. Из рассказов отца он знал, что птица селится там, где есть ягода, не березгует и сосновой хвоей. Значит, идти надо к моховым болотам на ягодную поляну, где летом деревенские лакомятся земляникой, срывая горстями. Женщины заготавливают листья ягоды, сушат, а потом используют вместо заварки для чая.

Вот туда и решил отправиться Мишаня, выждав для верности две недели. Утро выдалось мрачное. Сероватые облака, словно плохо постиранное бельё, занавесили полнеба, и только ветер со стороны гряды давал надежду, что скоро справится с ними, заставит расступиться перед яркими лучами весеннего солнца, поэтому дул старательно. И если это внушало надежду на то, что дождя не будет, то совсем не радовало пронизывающим холодом его дыхания.

Из старой одежды Мишаня давно вырос, на новую же денег не находилось. Военное время не давало возможности поправиться, но расти не мешало. Отцовская телогрейка была великовата, обходиться Мишане приходилось стареньким пальто с короткими рукавами. Чтобы руки не мёрзли, он надевал под пальто кофту матери, длинные рукава которой часто служили ему рукавицами. В такой одежде ходило полдеревни, поэтому никто ни над кем не подшучивал, все понимали, что война брала своё, оставляя человеку необходимое.

«Вот дурак, – рассуждал Мишаня, ёжась от холодного ветра. – Понесло же меня в такую непогоду! Чего дома не сиделось! Пошёл бы в следующий раз», – ругал он себя, прекрасно понимая, что вернуться не было резона, и если уж отправился за глухарём, то иди и не ной. Но самым главным аргументом в пользу похода был голод. Он просто не мог отложить охоту на завтра, потому что есть ему хотелось сегодня, и вчера хотелось, и завтра, если охота будет неудачной, тоже захочется.

Чувство голода преследовало деревенских давно, особенно страдали ребятишки. Ну как им втемяшишь в голову, что нужно потерпеть, подождать, если терпели и ждали они уже третий год. Любой способ добывания пищи был для них хорош, а уж ягодное время, как сладкий подарок природы, ценилось на вес золота. Но лето приходило в своё время, а есть хотелось постоянно.

Через речушку в самом узком месте были проложены брёвна. От времени и непогоды они потемнели, но исправно служили мостом, соединяющим деревенское бытие с таёжным. Эта дорога вселяла надежду весной утолить голод черемшой, или колбой, как её называли в этих местах. Лето гнало в лес изобилием ягод, осень – самое время грибов, охоты. Именно в этот период кедрач приносил урожай орехов. Но весна всё ещё несмело топталась на пороге времени и не торопилась занимать положенное ей место.

«Эх, – размышлял Мишаня, кутаясь в старое пальтишко, – сейчас бы тепла побольше. Пригреет солнышко, растопит снег, сойдёт тот в низины, тогда и заяц заметен будет, и рябчик семейные дела начнёт решать, да и утке гнездиться пора придёт».

Мишане вспомнилось, как в прошлом году Алёшка принёс им большого селезня, молча положил на стол и так же молча ушёл. Мать тогда

расплакалась, забыв поблагодарить за подарок. В деревне знали, что не от щедрости делал это Алёшка. Он, как мог, помогал тем, чьи отцы и мужья сражались на фронте, делился от сердца, словно расплачивался за свою хромоту и невозможность биться с врагом. И Мишаня представлял, как и он, вот так же молча, с усталым выражением на лице небрежно бросит глухаря на стол и степенно, не торопясь, начнёт раздеваться, не обращая внимания на удивлённо-обрадованные возгласы матери. От этой картины приятно защекотало в животе и заставило быстрее биться его раньше времени повзрослевшее сердечко.

От таких хороших мыслей он отвлёкся только тогда, когда, взобравшись на пригорок, услышал пощёлкивание, переходящее в шипение. Ни с чем невозможно спутать звук токующего глухаря, и Мишаня, опасаясь, что спугнёт птицу, присел на корточки и осторожно пополз в сторону ближайшего дерева, притаился за могучим стволом сосны. Когда же звук прекратился, он вытянул хвостик и осторожно выглянул. На поляне, распушив хвост, вытанцовывал глухарь. Он то поднимал голову, издавая призывные звуки, то опускал её, вглядываясь в сторону сосняка.

«Чего это он так вытанцовывает?» – недоумевал Мишаня, внимательно оглядывая поляну, на которой, кроме красавца-глухаря, никого не было.

Неожиданно птица гордо подняла голову, зашипела и начала притопывать на месте, затем на какое-то мгновение замерла и защёлкала, выталкивая из лёгких сухие потрескивания и дрожавшим горлом превращая их в звуки хрипловатых щелчков. А из-за дерева, опустив голову, словно ища что-то на снегу, не обращая внимания на красавца-глухаря, вышла серенькая курочка. За ней неспешно показалась вторая. Оранжевое оперение на грудках, словно солнечные блики, украшало их неброский наряд. Скосив глаза с ярко-красными надбровными дугами, глухарь приосанился, затопал лапками сначала на месте, затем повернулся к гостям боком, демонстрируя великолепие хвоста, гордо приосанился, высоко поднял голову и защёлкал, защёлкал, перебивая любовной песней все звуки леса.

Мишаня припал щекой к стволу сосны, боясь пошевелиться. Он не обращал внимания ни на шероховатость коры, царапающей его щеку, ни на холод предрассветного утра. Его взгляд был прикован к танцующему глухарю, а всё остальное стало ненужным, второстепенным. Птицы были

не нарисованные, а живые, настоящие, как настоящими были лес, речка и он, притаившийся за деревом, боявшийся нарушить зов природы. Красавец-глухарь, издавая гортанные звуки, молотцево вытанцовывал вокруг своей избранницы, а она делала вид, что не обращает на него внимания, что занята более серьёзным делом, но при этом постоянно держала его в поле зрения.

Непонятно почему Мишаня вспомнил, как перед самой войной в местном клубе всей деревней провожали выпускников. Разве можно было пропустить такое событие, поэтому пришли все. Мелюзга носилась по залу, мешая собравшимся, однако радостное настроение не давало возможности обращать внимание на сновавших туда-сюда ребятешек. Там же, среди толпы веселящихся людей, были и его родители. Отец держал мать за руку и не сводил с неё глаз, а она, покрасневшая от его внимания, стояла, опустив голову. Иногда она посматривала в сторону, но Мишаня понимал, что, куда бы она ни смотрела и с кем бы ни говорила, её ладонь лежала в ладони отца, и никто из них не собирался разжимать руки. Как только по залу поплыли звуки вальса, отец подался вперёд, оглядывая собравшихся, словно выбирал пару, однако руку матери он не выпустил из своей. А она, поводя плечами, делала вид, будто ей всё равно, что происходит вокруг. Мишаня радостно вскрикнул, когда родители, не сговариваясь, разом шагнули друг к другу и поплыли по залу, словно две большие красивые птицы. А вскоре все узнали, что на их землю пришёл враг, который одним махом прекратил веселье и разъединил танцующих на долгие годы.

Мишане захотелось зареветь, упасть лицом в снег, зарыться в него, спрятаться от воспоминаний, где были улыбающаяся мама и счастливый отец.

«Как посмел проклятый фашист ворваться в нашу жизнь? – кричало сердечко Мишани, выплёскивая слезами боль непонимания происходящего. – Кто дал право распоряжаться ему жизнью других, убивать, терзать и вместо любви учить нас ненависти?»

Он вытер рукавом кофты глаза, хотя реветь всё ещё хотелось. За деревом снова раздался зов глухаря, и Мишане неожиданно показалось, что ещё секунда – и закружится тот со своей подружкой по снежному паркету просыпающегося леса. Закружатся так же, как кружились его родители, разделённые ненавистной войной.

78

«Да что я? Фашист, что ли, стрелять в любовь!» – прокричал где-то внутри себя Мишаня, боясь нарушить тишину леса и помешать живым существам выстраивать свою любовь как символ продолжения жизни.

Не чувствуя холода, Мишаня стоял за деревом, любуясь прекрасными птицами, для которых любовь была превыше всего, превыше смерти от пули охотника. И от этой большой любви забилось сердечко Мишани, и он понял, что там, на войне, его отец стрелял в ненависть, а он здесь никак не сможет позволить себе стрелять в любовь.

Он осторожно, чтобы не спугнуть птиц, отполз в сторону, спустился с пригорка и, наполненный светом всепобеждающей любви, зашагал к дому.

– Не беда, – рассуждал Мишаня вслух, – не умрём. Вон весна не сегодня завтра начнёт нас подкармливать, а там и войне конец. Вот тогда и отъедемся.

Но не от этой мысли было ему хорошо на душе. Он радовался, что увиденное стало для него отправной точкой совершать добро. Именно сейчас он болезненно почувствовал отсутствие отца, которому хотелось сказать слова благодарности за всё хорошее, чему тот научил его, отправив с напутствиями пусть на короткое время в свободное плавание по морям жизненных испытаний, вручив на память чувство ответственности, доброты, любви.

– Отец, – прошептал Мишаня, – не ругай меня. Ты бей фашистов, они заслужили это. Ты учил меня любить, радоваться жизни, и я понял твою науку.

Он уходил всё дальше от поляны, где две большие красивые птицы вопреки всему исполнили танец любви.

ЗАКОН НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Маркелову давно перевалило за тридцать, когда он неожиданно для себя осознал никчёмность своей жизни. Впрочем, у него вроде бы всё было хорошо: жена, двое детей, неплохая и нормально оплачиваемая работа, благоустроенная квартира – набор того допустимого, что часто делает человека счастливым. Но вот счастья от всего этого он не испытывал.

Жизнь текла по давно заведенному руслу, и однообразие раздражало. Жена утром кормила всех, затем по дороге на работу отводила детей в школу, вечером прибежала уставшая и снова

впрягалась в работу: готовила ужин и обед на завтра для детей, вечером помогала им делать уроки. В субботу она, взвалив заботу о мальчишках на мужа, стирала, убирала, готовила, гладила, а в воскресенье таскала детей на выставки, в кинотеатр, на спортивную площадку. При этом старалась привлечь к этому скучному однообразию и Маркелова, но он яростно сопротивлялся.

Маркелов работал на самом крупном в городе предприятии, занимал неплохую должность и отчаянно при этом страдал от скучного однообразия жизни.

Он с завистью смотрел, как его более молодые и неженатые коллеги лихо меняли подруг, после работы собирались в ближайшем баре за бутылочкой пива, а выходные весело проводили в ресторанах, хвастаясь новой спутницей. Их рассказы заставляли невыносимо страдать и завидовать их развесёлой жизни.

Ему также хотелось веселья, знакомства с женщинами и жизни в своё удовольствие.

«Господи, – часто жаловался он, возвращаясь домой в переполненном автобусе, – за что мне такое? Так вся жизнь пройдёт, а сладости от неё и не почувствуешь».

И хотя счастливые глаза сыновей и мягкая улыбка жены всё ещё держали его на привязи семейного благополучия, но мысли о привлекательной и свободной жизни всё чаще и чаще тревожили ум.

Этот вечер ничем не отличался от тысячи подобных вечеров. Духота давила, редкий ветерок, весело перебирающий листочки на ближайшем дереве, не приносил прохлады. Домой идти не хотелось, и Маркелов присел на скамейку, отодвигая на время надоевшую суету домашних хлопот. Сегодня ему было особенно тяжело. Новая секретарша директора, длинноногая красавица Леночка, несколько раз приветливо улыбнулась ему, и он, ощутив прилив мужской уверенности в себе, затосковал ещё сильнее.

– У вас что-то случилось? – услышал он голос откуда-то сбоку и вздрогнул от неожиданности.

Рядом на скамейке сидел седовласый старик с округлой бородкой. Он с улыбкой смотрел на Маркелова, и столько доброты и понимания было в его лице, что Маркелов не выдержал и, обхватив голову руками, начал говорить.

– Плохо мне, очень плохо. Ну зачем я так рано женился? – жаловался он, пряча свои глаза от незнакомца. – Дети сразу родились один за другим, живу в одних заботах. Но я ещё так

молод, мне погулять хочется, по ресторанам походить, других женщин, в конце концов, рядом увидеть. Разве я не заслужил этого? – стонал он, всё глубже зарываясь лицом в руки.

– Жизнь как жизнь, – услышал он мягкий голос старика. – Хочешь её изменить – меняй вместе с теми, кто рядом с тобой. Именно они часть твоей жизни, часть тебя. Или ты думаешь, что без них твоя жизнь станет лучше?

– Не знаю, – честно признался Маркелов.

Он на какое-то мгновение представил себя вне семьи, но тотчас вздрогнул от нелепости такой мысли, что их вдруг не окажется рядом.

– Ну что? Не получается? – поинтересовался старик.

Маркелов отрицательно покрутил головой.

– А ты попробуй, – неожиданно предложил старик и, немного помолчав, продолжил: – Только я хочу тебя предупредить. Понимаешь, всё дело в том, что в жизни существует закон несовместимости: так любовь и измена не живут рядом, они просто несовместимы, как несовместимы верность и предательство, забота и разгульное веселье. По этому закону, если ты хочешь что-то получить, то должен быть готов и что-то потерять. Согласен ты на это?

Маркелов задумался. Мысль о том, что получит он больше, чем потеряет, назойливо застучала в его голове.

– Послушай, – снова заговорил старик, подвигаясь ближе к Маркелову, – ты ведь сейчас просто не понимаешь, что в жизни лучше. Пока твои друзья и коллеги наслаждаются ресторанами и женщинами, ты получаешь любовь и заботу от жены и детей. Они знают, как пахнет дорогой коньяк, а ты – как вкусно пахнет новорождённый младенец. Они обнимают женщин, а ты – своих сыновей и жену. Разве известны им слова «верность», «преданность», «стабильность»? Хочешь ли ты постоянное удовольствие променять на временное?

– Я устал, – честно признался Маркелов. – Пойми, мне хочется получать от жизни наслаждений, а не забот, мне хочется веселья, а не усталости. Я не знаю, что делать, но свою нынешнюю жизнь не принимаю.

– Да будет так! – понуро кивнул головой старик, приподнимая правую руку и устремив свой взгляд в зияющую пустотой голубизну неба.

Маркелов так и не понял, что случилось. Встреча со стариком была больше похожа на

сон и казалась нереальной, и он успокоился, приняв всё это за вымысел воспалённого мозга. Но именно после этой встречи всё в его жизни стало меняться.

Длинноногая красавица Леночка всё чаще и чаще начала попадаться Маркелову на глаза, одаривала его лучезарной улыбкой, а однажды в узком коридоре цеха неожиданно прильнула к нему, заставив сердце Маркелова учащённо забиться. Коллеги, устраивая очередной поход в ресторан, на этот раз, очевидно, по настоянию Леночки, уговорили его пойти с ними. Маркелов, сказав жене, что задержится на работе, счастливый и довольный, принял их приглашение. Леночку он увидел издали и ничуть не удивился, когда она, не стесняясь присутствующих, смело взяла его за руку и усадила рядом с собой. В танце она страстно прижималась к нему, и Маркелова взволновала эта близость, обдавая тёплой волной желания. После ресторана он охотно проводил её до дома, длительный поцелуй как бы подвёл итог их первой встречи.

Жена уже спала, намучившись за день, когда Маркелов пришёл домой. Ложиться ему не хотелось, воспоминания вечера всё ещё волновали, мешали сосредоточиться на сне и манили новыми возможностями. Засыпая, Маркелов твёрдо решил для себя, что ни за что не откажется от того рая, который так неожиданно вошёл в его жизнь.

Она для него теперь протекала в двух измерениях: в одном хлопотала жена, требовали внимания дети, а в другом – сладкая близость с Леночкой, рестораны и отсутствие забот. И если первая начинала пугать своей предсказуемостью, то вторая манила неизвестностью. Она нравилась ему всё больше и больше, затягивала глубже и уже постепенно начинала властвовать над ним.

Возвращаясь вечерами от Леночки, он уже не целовал жену, а субботние вечера, которые раньше проводил вместе с детьми, начинали раздражать его, как, впрочем, и сами дети.

Маркелов часто ловил испуганный взгляд жены, и это вызывало в нём чувство ожесточения, а однажды он грубо оттолкнул её. Когда она заплакала, незаслуженно обиженная, ушёл, хлопнув дверью, не испытывая при этом никаких угрызений совести.

Со временем ему стало доставлять удовольствие доводить её до слёз, гнать детей от себя.

20

Всё его время теперь занимала Леночка, и семье место в его сердце уже не находилось. Но и Леночки ему вскоре стало мало. Жизнь, наполненная только наслаждениями, требовала жертв, и на смену Леночки вскоре появилась Наташа, затем Катерина, Оля, Нина.

Однажды он явился домой поздно с исцарапанными в кровь по локоть руками и на немой вопрос жены рассказал вымышленную историю.

– Понимаешь, – лихо врал он, размахивая руками и отворачивая лицо, чтобы не видеть внимательно-холодных глаз жены, – пришлось заступиться за женщину, к ней приставали, я и вмешался.

Говорил он страстно, захлёбываясь от очередной лжи, но, наткнувшись на насмешливый взгляд жены, неожиданно замолчал.

– Такие царапины бывают только тогда, – спокойным и уверенным голосом произнесла она, – когда спасаешься бегством и продираешься сквозь кусты, закрывая лицо руками.

И Маркелов растерялся от простой очевидности этих слов. Ему даже показалось, что она подсматривала за ним, если смогла так достоверно описать картину его позорного бегства от очередной любовницы, к которой неожиданно вернулся муж.

– Маркелов, – глухо произнесла она, – устала. Устала от вранья, от такой жизни. Уходи от нас. Я согласна на развод.

Она сказала это голосом, не терпящим возражения, и ушла в детскую, плотно закрыв за собой дверь. Это испугало Маркелова. Он привык к покорным ожиданиям его позднего возвращения домой, к молчаливому принятию его загулов. Просто Маркелов понимал, что деться ей с двумя детьми некуда, и надеялся продолжать свою развесёлую жизнь и дальше, не обращая ни на что внимания. Он улёгся в зале на диван, но сон не шёл. Впервые за долгое время Маркелов задумался. Его пугала возможность лишиться новой, так тянущей к себе жизни, но и семью терять он не собирался. Мысли не давали возможности сосредоточиться, болезненно пульсировали в висках своей неразрешимостью.

«Подумаешь, – стучало в голове, – пусть идёт на все четыре стороны. Жил же последнее время без неё, проживу и дальше».

«Не теряй того, что создавалось годами. Найди в себе силы сохранить семью, она источник твоего счастья и благополучия», – просило сердце.

«Да таких, как она, тысячи. Встретишь ещё лучше», – кто-то упорно шептал в голове, и это кто-то становился самым лучшим советчиком.

«А детей таких не встретишь никогда, – уверяло сердце, пытаюсь быть услышанным. – Подумай, не потеряешь ли ты больше, чем приобретёшь?»

С этими невесёлыми мыслями Маркелов уснул.

Разводились они долго и нудно. Жена, казалось, мстила ему за боль, обиду, поэтому старательно и умело тянула с разводом, находя всё новые и новые причины. Маркелов метался между ненавистью к ней и желанием освободиться.

– Никакого примирения не может быть, – нервно теребя носовой платок, доказывал он судье нежелание соединиться с семьёй.

– Подумайте, у вас двое детей, – уговаривала судья без энтузиазма, за много лет привыкшая к подобным словам и делам.

– Да, – неожиданно соглашалась жена, – дети не должны жить без отца.

Суд в очередной раз откладывали, и Маркелов, взбешённый её несогласием на развод, с ненавистью бросал ей в лицо оскорбления, а она, обиженная и измотанная его изменами и предательством, с улыбкой смотрела ему в глаза и неторопливо возражала.

– Я устала от твоих оскорблений, измен. Пойми теперь и ты, что такое страдание.

И от того, что в её словах звучала больная правда, которую ему не хотелось слышать, понимать и принимать, Маркелов страдал, пил горстями таблетки, на время забыв про свои загулы. Теперь лишняя сигарета стала ему ближе всех женщин, усиленно вьющихся около него. Желание развестись, забыть, выбросить из жизни прошлое стало для него не просто навязчивой идеей, а освобождением от собственных страданий и страхов.

Он подавал в суд жалобные заявления, обвиняя жену во всевозможных грехах, надеясь, что это позволит ему приблизить долгожданную свободу. И когда в зале суда прозвучали слова «именем закона...», он, не веря в своё счастье, расплакался.

Южный город встретил его жарой и каким-то особым сладким запахом, которым чаще всего пахнут южные города. Новое место и новая работа на какое-то время отвлекли его от непри-

ятных воспоминаний о прошлом, и он с головой окунулся в свободную жизнь. Ему казалось, что она припасла для него неожиданный подарок – начать всё заново – и только сейчас отдала его. И хотя он надеялся, что новые ощущения будут радовать его, но воспоминания всё чаще и чаще наведывались. Особенную боль доставляли сны, в которых он обнимал своих детей и радовался общению с ними.

Тоска наваливалась всё сильнее, одиночество пугало и настораживало, и Маркелов, чтобы как-то освободиться от воспоминаний, начал решительно присматриваться к женщинам, работающим вместе с ним.

Особенно хороша была черноглазая красавица Гаянэ, с густой шапкой иссиня-чёрных волос и огромными, в пол-лица глазами. Она охотно принимала его ухаживания, но на близость с ним не шла, намекая на женитьбу и наличие двух братьев, способных постоять за честь сестры.

Однако жениться на ней Маркелов не собирался. Он прекрасно понимал, что Гаянэ тут же родит ему детей, и прежняя жизнь, от которой он так старательно бежал, снова вернётся к нему.

Помучившись около года и настроив против себя весь коллектив цеха, Маркелов срочно перевёлся на другое предприятие, покончив таким образом с ненужной обузой в лице Гаянэ.

Новое место сначала показалось скучным и неудобным, если бы не одно обстоятельство. Здесь работала молодая женщина, давно уже не связанная узами брака, с ребёнком на руках. Она сразу же вычислила возможную жертву в лице Маркелова и начала планомерную охоту на него. И Маркелов попался. Избранница устраивала его во всём. Наличие ребёнка давало ему возможность не заводить своих, к тому же он был уверен, что оставленная своим первым мужем, она будет крепко держаться за него, исполняя все его прихоти и капризы.

Рассуждая так, он присел на скамейку в сквере, успокаивая себя тем, что всё, что происходит сейчас, к лучшему.

– Ну что? Думаешь так дальше жить? – услышал он голос и оглянулся.

На другом краю скамейки, привалившись к спинке и глядя куда-то вперёд, сидел седой старик с небольшой круглой бородкой.

Маркелов узнал его и почему-то не удивился его неожиданному появлению.

– Жизнь продолжается, – весело отчеканил он, – и я должен, наконец, прожить её для себя.

– Надеюсь, ты не забыл закон несовместимости? – поинтересовался старик тихим голосом и повернул голову в сторону Маркелова.

Маркелов пожал плечами и усмехнулся. Всё шло как нельзя лучше, и никакие вымышленные стариком законы его уже не интересовали.

– Всё это глупости, – отмахнулся он, но любопытство взяло верх, и Маркелов поинтересовался: – Ну и чего я сейчас лишусь? С чем будет несовместимо моё новое положение? Что я потеряю сейчас?

– Любовь, – спокойно произнёс старик и с улыбкой взглянул на Маркелова. – Зачем она тебе, если удовольствия ты ставишь превыше всего?

Но Маркелов рассмеялся и отмахнулся от старика, резко поднялся и пошёл в сторону дома, где его ждали новая жизнь и новая женщина.

Мальчик внимательно наблюдал за женщиной, который что-то резким и недовольным голосом выговаривал его матери. Ему не нравилось, что она постоянно требовала от него называть этого чужого человека отцом. Мальчик с трудом выдавливал из себя: «Папа», видя недовольное лицо мужчины. Своим крохотным сердечком он научился чувствовать и понимать, что это слово никак не вяжется с человеком, уже более трёх лет проживающим с ними.

Маркелов действительно не принял до конца чужого ребёнка. Собственные дети давно должны были перейти в ранг забытых и выброшенных навсегда из сердца, однако этого почему-то не произошло. Они всё чаще приходили во сне, тревожили память и заставляли сердце болезненно сжиматься. Он боялся признаться себе, что до сих пор помнил запах их волос, мягкие ладошки, доверчиво вложенные в его руку, их улыбки, глаза, детские шалости. Но самым страшными воспоминаниями, в чём он отчаянно боялся себе признаться, были воспоминания прошлого, где были семья и любимая жена.

Женщина, делившая сейчас с ним свою жизнь и уступающая ему во всём, удобная, как он любил говорить, возможно, и была хороша, но в глубине души он осознавал, что любить её он так и не научился. Маркелов постоянно сравнивал её со своей первой женой и понимал, что проигрывает она во всём: готовит не так вкусно, смеётся не так заразительно, любит не так нежно.

Того, что должно было крепко-накрепко связать их в семью, в своей душе он не находил, но страх потерять и это, пусть иллюзорное, счастье

заставлял его терпеливо сносить всё, что предносила жизнь.

– Проклятый старик, – часто, оставшись наедине, повторял он. Его раздражало то, что тот оказался прав, и Маркелов отчётливо понимал, что любить живущую рядом с ним женщину он так и не научился и не научится никогда.

– Никуда не поедешь, – кричала женщина, наступая на Маркелова. – Ишь чего придумал! Детей ему, видишь ли, захотелось увидеть. Только попробуй – не поздоровится, – неистовствовала она, сжимала кулаки, готовая с боем отстаивать своё иллюзорное благополучие.

Маркелов поднял тяжёлый взгляд на кричавшую, и та испуганно замолчала, понимая, что в такие минуты лучше не перечить ему.

– Собери вещи, – злым голосом проговорил он, – и не ори! Надолго не уеду, только туда и обратно.

И она молча начала собирать мужа в дорогу. Её уже давно и постоянно мучил страх потерять так дорого доставшуюся ей семейную жизнь, расставаться с которой она не собиралась.

«Пусть гуляет, – часто со злостью думала она, – перетерплю, пусть злится, раздражается. Ничего, промолчу. Лишь бы был со мной».

Она давно умело приучала его к себе, прощая все его ошибки и подстраиваясь под его настроение. Хотя знала, что он постоянно обманывает, упорно делала вид, что верит ему во всё. Ей хотелось пусть видимой, но стабильности, семьи, уверенности, и то, что она в очередной раз смогла пристроиться, давало ей возможность знать, как нужно удержать то, что имела.

Во всё этом настораживало женщину только одно: она прекрасно понимала, что прошлое преследует её мужа, и не представляла себе, как заставить его забыть то, что когда-то было в его жизни. И то, что муж собирался пусть даже на короткое время вернуться в него, было самой сильной для неё болью и самым большим страхом.

– Что тебе до них? – часто с раздражением спрашивала она. – Уже давно забыли тебя. Да эта стерва столько боли тебе принесла и сейчас, наверное, гадости про тебя детям рассказывает. Подумай, стоит ли ехать?

Ей доставляло удовольствие поливать грязью неизвестную женщину, вдруг ставшую соперницей в её новой жизни. Она люто ненавидела её за то, чем не обладала сама, за то, что ту так долго помнил муж.

А он, настороженный и испуганный предстоящей встречей, ехал туда, где, как ему казалось, его ждали и помнили.

День выдался тёплый. Солнце уже давно не обжигало немилосердно, как у них на юге, а ласково пригревало. Ветерок приносил прохладу уходящего лета. Сердце Маркелова учащённо забилося, когда он увидел знакомый двор. Деревья, окружавшие детскую площадку, уже подросли, а кем-то посаженные кусты укрывали её от любопытных глаз.

Маркелов остановился у ближайшего дерева. От волнения ему стало тяжело дышать. Предстоящая встреча пугала, и он, понимая, что не найдёт в себе силы подняться в квартиру, присел на ближайшую скамейку.

– Дорогая, – услышал он голос со стороны подъезда, – да опусти ты ребёнка. Ты так часто носишь её на руках, что она скоро разучится ходить.

Маркелов оглянулся. Невысокий мужчина в модной курточке заботливо принял из рук женщины девочку и поставил на землю, отчего та от неудовольствия затопала ножками. Но мужчина присел около ребёнка, что-то сказал, и девочка рассмеялась, а он оглянулся в сторону подъезда и прокричал:

– Эй, мужики, выходите. На улице теплынь. Погуляем немного на площадке и рванём на стадион, а мама с сестрёнкой пусть отдохнут от нас.

Из подъезда, толкаясь и хохоча, дружно вывалились мальчишки и наперегонки бросились к турнику. Маркелов приподнялся со своего места, но тут же обессиленный рухнул назад. Это их он постоянно видел во сне, это к ним он приехал сегодня. Его душило непонятное чувство растерянности и нежелания поверить в то, что он сейчас увидел. Его сыновья слушались другого человека, непонятно откуда взявшегося.

«Зачем? Почему? Кто позволил?» – кричало его сердце.

Но самым страшным для него стало то, что его жена доверчиво прижималась к другому и казалась самой счастливой на свете. Женщина, к которой он ехал, женщина, которую он продолжал помнить и, несмотря ни на что, любить, была с другим, смотрела на того влюблёнными глазами и держала на руках его ребёнка.

Весь мир разом рухнул для Маркелова. Он неподвижно сидел на скамейке, безвольно опустив руки вдоль туловища, не в силах превоз-

мочь боль, пульсирующую в сердце. Сил подняться и уйти не нашлось, и он с ужасом увидел, как его бывшая жена нежно обняла мужчину, а он, с силой прижав её к себе, поцеловал сначала в лоб, затем, оглянувшись вокруг и никого не заметив, стал покрывать поцелуями её лицо, а она, запрокинув голову, весело смеялась...

Большое прошлое, так долго преследовавшее его и приносившее страдания, стало не менее страшным настоящим.

«Проклятый старик», – в очередной раз подумал Маркелов, так до конца и не осознав, что проигрываем или выигрываем мы в жизни только своими делами и поступками.

НАКАЗАНИЕ

1

Очередь была бесконечно длинной. Егоров пристроился в конце, судорожно сглотнул слюну, от этого в горле запершило, и он закашлялся, прикрывая рот ладонями. Впереди стоящий негр с удивлением посмотрел на него, но потом отвернулся, тяжело вздохнув, и понуро шагнул вперёд.

На какое-то мгновение Егоров удивлённо оглянулся. Он пытался вспомнить, что его привело сюда, но мысли путались или вдруг неожиданно пропадали, и тогда он автоматически делал шаг за медленно идущим негром.

«Так я до вечера на одном месте простою», – подумал Егоров, неосторожно шагнул и уткнулся в широкую спину негра, но тот никак не отреагировал. Странная, пугающая тишина сопровождала безмолвно двигающихся людей. Начала очереди не было видно, а в конец всё пристраивались и пристраивались новые посетители, шли, опустив голову, не вступая ни в какие разговоры.

«Интересно, а зачем мы стоим?» – мысленно напрягся Егоров, но спросить вслух постеснялся. «А может, стоим куда-то в очень важные структуры?» – задумался он. Егоров не помнил, когда он пристроился в конец очереди, не помнил зачем, и это мешало ему сосредоточиться, и хотя время шло, движения его он не ощущал. Егоров не мог понять, как долго стоит здесь, кто его поставил и когда это закончится. Ему казалось, что вечер давно уже должен протечь сюда, но вокруг было всё так же светло. От скуки Егоров стал осторожно осматриваться, чтобы увиденное помогло ему понять, где он находит-

ся. Вокруг была пустота. Белая безмолвная тишина окутала Егорова со всех сторон. «Даже присесть некуда», – вздохнул недовольный Егоров, хотя никакой усталости он не ощущал. Ни есть, ни пить не хотелось, не хотелось ни с кем разговаривать, порой и мысли куда-то пропадали, оставляя в его голове лишь желание достаться.

Прошло достаточно много времени, прежде чем Егоров увидел, как слабо колышущийся поток людей где-то впереди распался на три части. Он обратил внимание на то, что люди из этих потоков шагали в пустоту и пропадали там, не оставив ни следа. Ни дверей, никаких других приспособлений Егоров не увидел. Это на какое-то время привлекло его внимание, и он не заметил, как дошагал до места разделения толпы на потоки, и вдруг понял, что твёрдо знает, куда ему надо идти.

Егоров шагнул влево, в центр белёсой пелены, остановился у большого стола, за которым восседал старик, с аккуратной бородкой и огромной, во всю голову, лысиной. Старик устало взглянул на Егорова и кивнул ему в сторону огромного экрана, на котором растерянный Егоров увидел всю свою недолгую жизнь. Кадры сменялись, и Егоров смотрел, как он то оскорблял маму, то измотанный и усталый на работе в гневе кричал на супругу, то довольный и счастливый сидел с собутыльниками в ближайшем сквере. Везде он был или безжалостный, или довольный, но чаще всего злой и раздражённый, уставший от своей, как ему вдруг показалось, несчастной жизни. Фильм закончился неожиданно.

Старик внимательно посмотрел на Егорова и заговорил:

– Тебе ещё рано к нам. Ты вернёшься, но получишь наказание. Теперь каждую минуту ты будешь ощущать боль того человека, которому её причиняешь. Посмотрим, захочешь ли ты после этого приносить близким страдание. Иди.

2

Егоров осторожно приоткрыл глаза. Первое, что он увидел, была плохо побелённая стена больничной палаты, скомканное одеяло и испуганное лицо жены, дремавшей на стуле. Ужасно болела голова. Боль пульсировала где-то в затылке, и Егорову казалось, что он слышит стук тысячи молоточков, усердно бьющих за теменной костью. Он недовольно поморщился и вдруг отчётливо вспомнил, как вечером подрался с со-

седом, как тот с силой толкнул его, Егоров, падая на заплёванный пол подъезда, пребольно ударился головой о стену.

– Люба, – тихо позвал Егоров дремавшую жену, но она, всю ночь не сомкнувшая глаз, даже не пошевелилась, когда Егоров прикоснулся к её оголённому колену.

Егоров разозлился и с силой ударил ладошкой по ноге жены. От неожиданности она громко вскрикнула, испуганно открыв глаза, и спросонья не поняла, что случилось. Недовольный Егоров, обиженный невниманием супруги, поджал губы и зло взглянул на неё. Люба ещё больше растерялась, одёрнула подол платья и засуетилась около мужа.

– Врач вчера, когда определил у тебя сотрясение, поставил снотворное, – суетливо поправляя одеяло, заговорила Люба.

Она всё ещё помнила пьяную драку на лестничной площадке в подъезде, разгоревшуюся из-за какой-то ерунды, и теперь боялась очередной вспышки гнева рассерженного мужа.

– Я тебе покушать принесла, да что-то задремала, – оправдывалась она.

Егоров взглядом приказал ей замолчать. Голова раскалывалась от боли, и Любина болтовня усиливала её, мешала думать. Из большой сумки, стоящей около кровати, Люба извлекла банку с супом, и по палате потёк дурманящий запах. Егоров с наслаждением потянул носом в сторону аромата. Ему страшно захотелось кушать, и то, что Люба медлила, бесило Егорова.

– Поторопись, дура, – прошипел он, – не видишь, что ли, голодный я.

Люба засуетилась, и, может, от того, что она торопилась, банка с супом не открывалась, как будто крышка намертво приросла к ней. От напряжения на лбу у неё выступили капельки пота. Одной рукой она придерживала банку, а другой остервенело рвала крышку.

То, что жена медлила и не исполняла просьбы мужа, окончательно вывело Егорова из себя. Он приподнялся на руках и, почти не разжимая губ, просипел:

– Дура, ничего не можешь, никогда не могла, вот теперь окончательно убедился в этом. Дай сюда банку, идиотка!

Он почти ненавидел неумеху-жену, уже давно раздражавшую его своей суетливостью, а присутствие в палате посторонних людей совсем не смущало его и не мешало оскорблять растерявшуюся женщину.

Наконец, Люба одержала победу в борьбе с банкой. Она присела на край кровати, положила на грудь Егорову полотенце и стала старательно кормить его с ложки. Егоров заглатывал вкусный суп, время от времени морщился, чтобы Люба вдруг случайно не догадалась, что всё вкусно и доставляет Егорову удовольствие. Делал он это из вредности, не давая жене повода гордиться своими обедами.

Егоров уже давно привык так жить, унижая и обижая близких. Ему казалось, что только так он сможет утвердиться в своём незыблемом величии мужа и хозяина положения, поэтому тактики своей не менял. Обижалась ли Люба, Егорова не интересовало, как и не интересовало настроение всех членов семьи. Его раздражали все: мать с больными ногами, вечно цепляющаяся при ходьбе за мебель и мешающая Егорову свободно передвигаться по квартире, неуклюжая жена с вымученно-испуганным выражением лица, сын-подросток, глядящий на него исподлобья, даже разношёрстная кошка, постоянно ложившаяся на излюбленное место хозяина. Хорошо он чувствовал себя только с друзьями, распивая бутылочку беленькой на скамейке в ближайшем сквере или за столом на крохотной кухне. Тогда все в доме замокали, расходились по своим углам, только Люба неслышно сновала туда-сюда, подавая закуску и так же бесшумно исчезая за чуть приоткрытой дверью.

– Хватит, наелся, – устало произнёс он, отодвигая руку Любы в сторону. Она привычно испуганно вздрогнула от его прикосновения и стала торопливо убирать недоеденное мужем в большую сумку.

Егоров от нечего делать устался в давно небелённый потолок, затем перевёл сердитый взгляд на жену.

– Иди узнай у врача, долго мне ещё здесь прохладиться! – насупленно проронил он. Ему уже порядком надоела больничная палата, тянуло к собутыльникам, хотя голова по-прежнему раскалывалась.

Люба вернулась быстро. За ней семенил старенький доктор. Он осторожно осмотрел Егорова и с улыбкой констатировал:

– Да, батенька, напугали вы нас вчера. Слава Богу, что голова у вас железная. Небольшое сотрясение, но из-за раны на голове вы потеряли много крови. Привезли вас в бессознательном состоянии, то есть прибавили нам работы, когда долго не приходили в себя, но уже поти-

25

хоньку восстанавливается. Советую поберечь голову, она ещё вам пригодится. А выпьем вас дня через три-четыре. Пока отдыхайте.

Он так же стремительно исчез из палаты, как и вошёл. Егоров заметил, что Люба нерешительно мнётся в дверях, сердито взглянул на неё и прошипел:

– Ну, чего тебе ещё? Говори.

– Мне бы домой сходить. Обед приготовить надо, Вовка скоро из школы придёт, да и мама твоя с утра только чаем перебивается.

Егоров устало кивнул, разрешая ей уйти, и принялся внимательно рассматривать соседей по палате. Их было трое. Старик на кровати в углу в расчёт не шёл. Был он немощный, постоянно с надрывом кашлял. Правая кисть руки была заматана бинтом и беспомощно покоилась на подушке. Напротив него с перебинтованной головой лежал огромный толстяк, возвышаясь горой над кроватью, и надсадно храпел. В углу примостился парень. Левая нога у него была в гипсе, рядом с тумбочкой, прислонясь к стене, пристроились костыли. Парень что-то увлечённо читал, время от времени посмеиваясь над прочитанным, и, казалось, ничего вокруг не замечал.

«Да, послал Бог соседей, – подумал Егоров, – выпить даже не с кем».

Выпить ему хотелось ужасно. Его не смущала сильная раздражающая темя головная боль. Казалось, что стоит опрокинуть стаканчик-другой, всё разрешится само собой: голова тут же перестанет болеть, настроение непременно улучшится и всё вокруг обретёт значимость.

Ему хотелось, чтобы его навели друзья-собутыльники, но в глубине души он прекрасно понимал, что нужен им только на скамейке в парке, что радовались они его приходу только тогда, когда из кармана его брюк торчало горлышко бутылки. От желания выпить у него засосало под ложечкой, рот наполнился слюной, которую он поспешно и громко сглотнул. Желание становилось невыносимым, и Егоров не выдержал.

– Эй, – окликнул он парня в углу, самозабвенно читающего книжку, – слушай, ты выпить не хочешь?

Парень отстранённо взглянул на Егорова и отрицательно покачал головой.

– Не увлекаюсь, – чуть заикаясь, произнёс он и снова нырнул глазами в книгу.

От огромного желания и невозможности его реализации Егоров начал страдать. Он вдруг отчётливо понял, что совершил глупейшую ошибку,

отправив Любу домой и не приказав ей приехать выпить. Люба немедленно превратилась в его глаза в злейшего врага. Егоров всеми клеточками своей жаждущей выпить души понимал, что Люба ни за что не догадается принести ему заветные сто граммов, обязательно придёт вечером, когда спиртное уже не будут отпускать и окончательно испортит ему настроение. Теперь все мысли Егорова вертелись вокруг его желания и напроць изгнали все остальные. Он закрыл глаза, пытаясь уснуть и прекратить на время думать о выпивке, но сон не шёл.

Под вечер, измотанный мыслями и желанием выпить, Егоров уже ненавидел всё вокруг. Когда дверь тихонько открылась и в палату проскользнула жена, он, не дожидаясь её приближения, остервенело зашипел.

– Где тебя черти носят, дура? Ну, чего вылупилась, чего остановилась, иди сюда.

Он не сдерживал себя в словах, ведь в том, что выпить ему сегодня не придётся, была виновата только она, не догадавшаяся вовремя прийти и поинтересоваться у мужа, чего ему хочется. Люба съёжилась, осторожно бочком приблизилась к кровати и наклонилась, чтобы поправить одеяло, один край которого провис до пола, а другой забрался под подушку и мешал ничего не замечающему Егорову. Она протянула руку, и Егоров, уже потерявший над собой контроль, вдруг с размаху кулаком ударил по ней, выплёскивая весь гнев наружу. Люба вскрикнула, отдернула руку, спрятав её за спину, и, не зная, как себя вести дальше, понуро опустила голову и замерла.

Егоров уже было открыл рот, чтобы выплеснуть жене в лицо очередную порцию недовольства, но вдруг где-то в груди у него образовался комок из боли, жалости к себе и обиды и стал расти, распирая сердце болезненными ощущениями. Чувство было настолько незнакомым, что у Егорова на глазах выступили слёзы, и растерявшийся от этой напасти, он отвернулся к стене, чтобы никто не увидел его страданий.

«Что это со мной? – испуганно напрягся Егоров. – Неужели стало жалко Любку?»

Невыносимо горькое чувство незаслуженной обиды не проходило, а давило на сердце, и от этого он страдал ещё сильнее.

От лёгкого прикосновения к плечу Егоров повернул гудящую голову и увидел склонённое над ним лицо жены.

– Я тебе покушать принесла, – робко произнесла она.

На тумбочке возвышались какие-то баночки со съестным, заполнявшим ароматом всю палату. На соседней кровати заёрзал тучный мужчина, принюхиваясь к доносившимся запахам, словно пытаясь насытиться ими.

Егоров привстал на кровати и принялся за еду, стараясь этим заглушить до сих пор незнакомое и неизвестно откуда появившееся чувство. Когда Люба ушла, он понял, что пить ему расхотелось, что, страдая от обиды и жалости к себе, он опять забыл попросить жену об одолжении, и желание увидеть на тумбочке бутылочку беленькой отодвинулось на неопределённый срок.

3

Выписали Егорова, как и обещали, на третий день. Врач наскоро проконсультировал его, выдал на руки выписку и безразлично отвернулся, склонившись над кучей бумаг. Егоров постоял несколько секунд, тяжело вздохнул, уходя, нарочито громко хлопнул дверью. Люба ждала его внизу и, когда Егоров прошагал мимо, засеменила за ним.

Улица встретила его гулом машин, свежестью первых осенних деньков и последними яркими лучами солнца. Он шумно вдохнул нахлынувшую на него прохладу, в носу приятно защипало, и Егоров неожиданно для себя обрадовался. Душная и скучная палата осталась где-то далеко позади и тут же забылась. Впереди показался сквер, и Егоров напрягся в предвкушении встречи со старыми друзьями, но скамейка, на которой они обычно просиживали, пустовала, только первые опавшие пожухлые листья лениво расположились на ней, словно собирались отдохнуть.

– Я зайду в магазин, – твёрдым голосом, не оборачиваясь, заявил Егоров Любе и уверенно зашагал через дорогу. Он представил себе, как вечером придёт в сквер, держа в руках бутылочку, как радостно и приветливо загалдят присутствующие и как он смачно выпьет из пластмассового стаканчика, не закусывая и не морщась.

– Дома продуктов почти не осталось, а ты всё опять тратишь на глупости, – неожиданно подала голос до этого молчавшая Люба и осталась, выражая недовольство.

– Иди домой! – не оборачиваясь, приказал Егоров.

Вернулся он через полчаса, улёгся на диван и с нетерпением стал ждать того времени, когда можно будет отправиться в сквер. Люба суети-

лась на кухне, стучала кастрюлями и о чём-то тихонько жаловалась матери. Вовка уже давно пришёл из школы, забросил сумку в комнату и убежал на улицу, не обращая внимания на Любину просьбу остаться и заняться уроками.

Ближе к вечеру Егоров, наскоро перекусив Любиной стряпнёй, торопливо накинул на себя старенький, выдавший виды пиджачок и заспешил в сторону сквера. Его встретил гул дружных голосов, насмешки по поводу болезни. Егоров гордо демонстрировал всем рану, ругая соседа, а когда все налюбовались шрамом на голове, он старательно вынул из кармана бутылку и предложил выпить за своё выздоровление. Водку старательно разлили по стаканчикам, кто-то положил на газетку, лежащую на коленях, не очень свежую булочку, и пиршество началось. Пили за выздоровление, за то, чтобы чаще собирались, за дружбу. Когда бутылка опустела, разгорячённая выпитым компания тут же подсуетилась, и через некоторое время появилась вторая, а потом и третья.

Возвращался Егоров домой под вечер. Голова привычно гудела, в желудке было пусто, где-то под ложечкой болезненно ныло, настроение постепенно портилось, и чем ближе Егоров подходил к дому, тем становился мрачнее. Дверь он открыл своим ключом, с трудом попав в замочную скважину. Его встретила привычная тишина. Мать закрылась в своей комнате, Вовка делал вид, что занят уроками, только Люба всё ещё суетилась около плиты.

Егоров с трудом разулся, немного подумал, на кого начать выплёскивать своё неожиданно испортившееся настроение, и шагнул на кухню.

– Давай жрать! – прохрипел он и рухнул на стул в углу.

– Сейчас, сейчас, – заторопилась Люба. Она поставила перед ним сковородку с аппетитно подрумяненной картошкой, нарезанные огурчики и тарелку с хлебом. И хотя делала она всё быстро, Егоров недовольно морщился, наливаясь злобой к происходящему.

– Поторопись, дура, – привычно заорал он и с силой толкнул Любу.

От неожиданности она охнула, запнулась за половичок и пребольно ударилась о холодильник. И в ту же минуту неизвестно откуда появившаяся резкая боль в боку пронзила Егорова, слёзы навернулись ему на глаза, сердце неприятно защемило, и он неожиданно всхлипнул, не сумев пересилить нахлынувшую на него обиду.

Егоров, растерявшись и ничего не понимая, смахнул слёзы с ресниц, выбрался из-за стола, ушёл в свою комнату. Он улёгся на старенький диван, напрягся, пытаясь заглушить боль и обиду, но они росли, доставляя неудобство, и Егоров разрыдался. Слёзы на какое-то время принесли облегчение, и он уснул не раздеваясь.

«Что-то со мной не так», – утром мучился Егоров. Обида не проходила, а становилась привычной, от этого он ещё сильнее переживал. Ему нестерпимо захотелось выпить, чтобы заглушить невесть откуда родившееся чувство, хотя и незнакомое, но уже так болезненно заявившее о себе, поэтому ненужное, так как мучиться от чего-то, кроме отсутствия выпивки, Егоров просто не привык. Он привстал с дивана и вдруг отчётливо понял, что боится встретиться с Любой, что ему тяжело видеть её после вчерашнего. Чувство было незнакомое, непривычное, и Егоров озлобился. Его стремление быть хозяином положения одержало верх, он соскочил с дивана, пнул ногой табуретку, стоявшую на его пути, отчего она с грохотом упала, и вышел из комнаты.

Мать, увидев его, с трудом передвигая опухшие ноги, заторопилась в свою комнату, которую она делила с внуком, но спрятаться не успела.

– Чего еле ноги тащишь? – завопил Егоров, раздражённый её медлительностью. – Давай шевелись! Всю комнату заняла своими габаритами!

Он хотел наораться вдоволь, хотел почувствовать себя угрозой для всех и насладиться своим превосходством. Мать, не оборачиваясь, тяжело вздохнула и заспешила, болезненно морщась.

И ту же минуту, как только он увидел её осунувшееся лицо, у Егорова неожиданно свело ноги, в районе колени запульсировало, ступни налились тяжестью. Он оперся руками об сервант, с трудом сделал осторожный шаг и застонал. Боль в ногах была нестерпимой, но ещё сильнее была боль в сердце. Оно снова, как вчера, налилось незаслуженной обидой и какой-то странной горечью, мучившей его. Егоров почувствовал свою ненужность и никчёмность. Слёзы скопились где-то внутри, но выплеснуться наружу не решались. Егоров присел на стул и закрыл лицо руками. В голову назойливо лезли мысли: «Кому я нужен, зачем живу на свете? Скорее, что ли, перестать мучить себя и других». Были ещё мысли о сыне, о его безразличии, о мате-

ринской обиде на него. Всё это корёжило душу, выворачивало её.

«Да что это со мной? – стонал Егоров. – За что всё это мне?..»

Что-то забытое стало всплывать в его памяти, но боль обиды не давала сосредоточиться, и он, посидев на стуле, постепенно стал успокаиваться.

4

Больничный у Егорова заканчивался, на работу идти не хотелось, но и дома он боялся оставаться. Егоров заметил, стоило ему закричать на кого-то из домашних, он начинал страдать так, как будто это его только что отчитали. Даже отвешенный подзатыльник Вовке отозвался сильной болью в голове и обидой в сердце. Егоров начал нервничать. Привычное положение грозы семьи и хозяина начинало угнетать его и пугать. До больницы Егоров мог безнаказанно оскорблять домашних, ругаться с соседями, уходить, когда ему вздумается, в сквер к собутыльникам. А сейчас всё давалось с трудом. Боль обиженного им человека становилась его болью. К этому Егоров никак не мог привыкнуть и не хотел. Он терял своё могущество, а то, что приобретал взамен, совсем ему не нравилось.

Егоров лишний раз не решался повисить голос. Люба с удивлением смотрела на него, а однажды улыбнулась ему. От этого она стала красивой и молодой, и Егоров пожалел, что так долго не видел её такой. Он терпеливо молчал, когда неуклюже переваливающаяся мать вышла из своей комнаты, а однажды даже помог ей, чего раньше никогда не делал. От этого в его душе что-то непонятное затеплилось, и он неожиданно счастливо улыбнулся.

Через неделю Егоров решил отправиться в церковь, стоящую недалеко от дома. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться пережитым. Друзья-собутыльники в расчёт не шли, а объяснение происходящему у него не находилось. В церкви он дождался, когда батюшка освободился, и нерешительно подошёл к нему.

– Вас что-то беспокоит? – поинтересовался тот, увидев, как мнётся Егоров. Давно заметил его, понял, что в церкви тот впервые.

Егоров, запинаясь от волнения, изложил всё, что с ним происходило в последнее время. Он боялся что-нибудь пропустить, толком не мог описать свои чувства, торопился, но его внимательно, не перебивая, выслушали.

– Мы часто незаслуженно обижаем близких да и небликих тоже, – задумчиво проговорил батюшка. – Не понимаем и не чувствуем, какую боль им причиняем. Человек чувствует только свои страдания, переживает только свою обиду, изображает из себя жертву, предаёт и не испытывает угрызений совести. А что случится, если мы всей душой, всем сердцем почувствуем боль обиженного нами? Легко ли нам будет в следующий раз обижать, оскорблять, предавать? Часто человек проявляет слабость, трусость и прячется за своими обидами. Ты стал делить боль с обиженным тобой, стал ощущать её в себе. Теперь ты понял, как больно бывает тому, кого ты незаслуженно обидел. Ты понял могущество слова, силу деяния. Сделай свои слова и поступки безупречными, и тогда боль отступит от тебя. Используй свои слова и поступки, чтобы доставлять любовь, а не страдания, тогда ад твоей жизни превратится в рай. Любой человек заслуживает рая, а часто создаёт ад в своей душе. Попроси прощения у тех, кто страдает по твоей вине. Признать вину тоже тяжело. Мы чаще обвиняем других, выгораживая себя. Найди силы изменить себя, тогда и мир вокруг тебя из-

менится. Не живи иллюзиями благополучия, если где-то кто-то страдает по твоей вине. Запомни, трусость – самый большой грех, способный погубить душу. Найди в себе смелость признать это и изменить всё происходящее сейчас в твоей жизни.

Батюшка перекрестил Егорова и зашагал прочь, оставив того наедине с только что сказанным. Егоров уставился на икону, с которой на него с болью и любовью взирал лик, неумело перекрестился и пошёл прочь. Ему никто никогда не говорил таких простых и понятных слов, никто не выслушивал его несуразную путаную речь, никто не давал совета.

Сказанное было простым и понятным, но Егоров понимал, как тяжело выполнять всё то, что ему только что проговорили. Он вышел из церкви и зашагал домой. Егоров не представлял, с чего начать своё излечение, как убить гнев и трусость в своей душе, но твёрдо знал, что делать это необходимо. Жить по-старому больше не получится, а вот жить по-новому придётся учиться. И не имеет значения, в каком возрасте приходит это понимание. Главное, что оно приходит.

